

Глава 1

(Предисловие вместо послесловия)

Моя работа закончена. Я письменно изложил события осени 1909 года, тот ряд трагических обстоятельств, с которым я оказался связан столь странным образом. Все, что я написал, — правда от первого до последнего слова. Ни о чем я не промолчал, ничего не приукрасил — да и к чему? У меня нет повода что-либо скрывать.

Записывая эти происшествия, я обнаружил, что в памяти моей живо и ясно сохранилось бесконечное число подробностей, отчасти довольно незначительных: беседы, мысли, мелкие инциденты, но что при этом у меня составилось совершенно неправильное представление о времени, в течение которого все это разыгралось. Еще и теперь у меня такое впечатление, будто это длилось несколько недель. Но это ошибка. Я знаю точно, в какой день доктор Горский повез меня играть квартет на виллу Бишоф. Это было в воскресенье 26 сентября 1909 года; вся панорама этого дня еще и теперь стоит у меня перед глазами: с утренней почтой я получил письмо из Норвегии, постарал-

ся разобрать почтовый штемпель и подумал при этом о студентке, которая была моей соседкой за столом при плавании по Ставангерскому фиорду. Она ведь обещала мне написать. Я распечатал письмо, но в нем оказался проспект одного отеля у Гардангского глетчера. Разочарование. Позже я отправился в фехтовальный клуб, но тут, на улице Флориани, меня застиг ливень, я вошел в ворота какого-то дома и увидел старый запущенный сад с каменным фонтаном барокко; старая дама заговорила со мною и спросила, не живет ли в этом доме модистка по фамилии Крейцер. Помню все, словно это было вчера. Потом распогодилось, 26 сентября 1909 года осталось у меня в памяти как теплый день с безоблачным небом.

Днем я обедал с двумя товарищами по полку в садовом ресторане. Утренние газеты просмотрел только после обеда. В них были статьи о балканском вопросе и о политике младотурок — поразительно, как это все запомнилось мне. Передовая статья обсуждала путешествие английского короля, а другая посвящена была планам турецкого султана. «Выжидательная политика Абдул-Гамида» — было напечатано жирным шрифтом в заголовке. В хронике сообщались биографические сведения о Шефкет-паше и Ниази-бее — кто ныне помнит еще эти имена? На Северо-Западном вокзале ночью был пожар — уничтожены огнем огромные лесные склады; сообщалось о готовящейся постановке «Дантона» Бюхне-

ра; в опере шла «Гибель богов» с гастролером из Бреславля в роли Гагена; где-то, кажется в Петербурге, происходили забастовки и рабочие беспорядки; в Зальцбурге случилась в церкви кража со взломом, а телеграммы из Рима говорили о шумных сценах в парламенте. Затем я набрел на петитом набранную заметку о крахе банкирского дома Бергштейна. Она меня несколько не поразила, я предвидел этот крах и своевременно взял отсюда свои капиталы. Но невольно вспомнил об одном знакомом, об актере Ойгене Бишофе, который тоже доверил этому банку свое состояние. «Мне следовало его предупредить, — мелькнуло у меня в голове. — Но разве он поверил бы мне? Он никогда не верил в мою осведомленность. К чему вмешиваться в чужие дела?» И тут же мне припомнилась моя беседа с директором придворных театров, происходившая несколькими днями раньше. Речь зашла об Ойгене Бишофе.

— Он старится, к сожалению, ничего не поделаешь, — сказал директор и прибавил еще несколько слов о том, что надо дать место молодым силам.

Судя по моему впечатлению, у Ойгена Бишофа было мало шансов на возобновление контракта. А тут еще вдобавок эта катастрофа с Бергштейном и К°.

Все это запомнилось мне. Так отчетливо запечатлелся в моем мозгу день 26 сентября 1909 года. Тем труднее мне понять, как мог я отнести к се-

редине октября тот день, когда мы втроем вошли в дом на Доминиканском бастионе. Быть может, воспоминание об опавших каштановых листьях на песчаных дорожках сада, о зрелом винограде, продававшемся на перекрестках, и о первых осенних заморозках — быть может, вся эта совокупность смутных воспоминаний, как-то связанных для меня с этим днем, ввела меня в такое заблуждение, в действительности же все разрешилось 30 сентября, это я установил на основании заметок, сохранившихся у меня от того времени.

С 26 по 30 сентября, стало быть, не больше пяти дней, длился весь этот трагический кошмар. Пять дней продолжалась романтическая охота, преследование незримого врага, который был не существом из плоти и крови, а страшным призраком минувших веков. Мы набрали на кровавый след и пошли по этому следу. Молча открылись ворота времени. Никто из нас не предвидел, куда ведет путь, и чувство у меня теперь такое, словно мы с трудом, шаг за шагом, ощупью пробирались по длинному темному коридору, в конце которого нас поджидало чудовище с поднятой дубиной... Дубина опустилась два раза, три раза, ее последний удар пришелся по мне, и я бы погиб, я разделил бы страшную участь Ойгена Бишофа и Сольгруба, если бы в последний миг не был внезапно выхвачен из бездны.

Сколько жертв поглотило оно, это окровавленное чудовище, на пути своем сквозь чашу столе-

тий, сквозь времена и страны? Судьба многих людей представляется мне теперь в ином свете. На оборотной стороне переплета среди имен прежних владельцев книги я открыл одну полустертую подпись. Правильно ли я разобрал ее? Неужели Генрих фон Клейст тоже?.. Нет, бесполезно искать, и гадать, и вызывать призраки великих усопших. Туман скрывает их лики. Безмолвствует прошлое. Никогда не даст ответа мрак. И это не миновало, нет, все еще не миновало, видения поднимаются из глубин и осаждают меня ночью и среди бела дня — теперь, впрочем, хвала небесам, уже только в виде бледных, бесплотных теней. Оно спит во мне, мое страдание, но сон его все еще недостаточно глубок, и подчас меня вдруг охватывает страх и гонит к окну; мне представляется, что там, наверху, чудовищными волнами должен бушевать в небе ужасный огонь, и я не верю себе при виде солнца над моею головой, солнца, окутанного серебряной дымкой, окруженного багряными облаками или одинокого в безграничной небесной синеве, при виде извечных, вечных красок вокруг меня, красок земного мира. Ни разу после того дня не видел я больше страшного пурпура трубного гласа. Но тени все еще тут: возвращаются, обступают меня, тянутся ко мне... Исчезнут ли они когда-нибудь из моей жизни?

Быть может, это грешные души? Быть может, изложив на бумаге то, что меня угнетало, я отде-

лался от гнета навсегда? Повесть моя лежит передо мною в виде кипы разрозненных листов; я поставил крест на ней. Какое мне отныне дело до нее? Я отодвигаю ее в сторону, словно ее кто-то другой пережил и сочинил, кто-то другой написал, не я.

Но еще другое соображение побудило меня записать все то, что я хотел забыть, но забыть не могу.

Сольгруб за несколько мгновений до своей смерти уничтожил один исписанный лист пергамента. Он это сделал, чтобы отныне никто не мог подпасть под то же странное обольщение. Но можно ли быть уверенным, что этот пергамент был единственным в своем роде экземпляром? Разве нельзя допустить, что в каком-нибудь забытом уголке мира лежит второе сообщение флорентийского органиста — выцветшее, запыленное, истлевшее, объединенное крысами, похороненное под хламом старьевщика или притаившееся за фолиантами старой библиотеки или между коврами и Коранами на чердаке лавки где-нибудь в Эрцинджане, Диарбекире или Джайпуре — что оно там лежит настороже, готовое к воскресению и жаждущее новых жертв?

Все мы — неудавшиеся произведения Великого Творца. Мы носим в себе страшного врага и этого не подозреваем. Он не шевелится в нас, он спит, лежит как мертвый. Горе тому, в ком он оживает. Да не узрит отныне ни один смертный

пурпурной краски трубною гласа, которую увидел я! Да, пусть Бог мне будет защитой — я ее видел...

И поэтому рассказал я здесь мою повесть.

Я знаю, у нее, в том виде, в каком она теперь лежит передо мною, эта кипа исписанной бумаги, — у нее, в сущности, нет начала. Как она началась? Я сидел дома, за письменным столом, с пенковой трубкой в зубах и перелистывал книгу. В это время пришел доктор Горский.

Доктор Эдуард фон Горский при жизни был мало известен вне узкого круга специалистов. Только смертью заслужил он себе мировую славу. Он умер в Боснии от заразной болезни, которую избрал предметом своих специальных исследований.

Он, как живой, стоит передо мною, плохо выбритый, очень неряшливо одетый, с косо повязанным галстуком. Указательным и большим пальцами он зажал себе нос.

— Опять ваша проклятая трубка! — расшумелся он. — Неужели вы не можете жить без нее? Какой ужасный дым! Он чувствуется даже на улице.

— Это запах заграничных вокзалов, он мне нравится, — ответил я, вставая, чтобы с ним поздороваться.

— Черт бы его побрал! — проворчал он. — Где ваша скрипка? Вы будете играть у Ойгена Бишофа, мне поручено вас привезти.

Я взглянул на него в изумлении.

— Разве вы не читали сегодня газеты? — спросил я.

— Ах, вы об этом уже знаете тоже? — воскликнул он. — По-видимому, всему свету известно то, о чем только сам Ойген Бишоф не имеет никакого представления. Да, история скверная. Насколько я понимаю, ее хотят скрыть от него. Как раз теперь у него происходят неприятности с дирекцией, и, по крайней мере, покуда они не уладились, надо об этом молчать. Посмотрели бы вы, как ведет себя Дина: точно ангел-хранитель бережет она его. Едем со мною, барон! Ему, по-моему, будет сегодня полезно всякое развлечение и отвлечение.

Мне очень хотелось повидать Дину. Но я был осторожен. Я сделал вид, будто мне нужно еще предварительно подумать.

— Немного помузицируем, — убеждал меня доктор Горский. — Я захватил с собой виолончель, она в фиакре. Сыграем фортепианное трио Брамса, если хотите.

И он стал насвистывать про себя, чтобы меня соблазнить, первые такты H-dur-ного скерцо.

Глава 2

Комната, где мы играли, расположена была в первом этаже виллы, и ее окна выходили в сад. Поднимая глаза от нот, я видел выкрашенную в зеленую краску дверь павильона, где Ойген Бишоф обычно запирался, когда ему присылали новую роль; там он ее разучивал и в иные дни часами от туда не выходил. До позднего вечера мелькал тогда за освещенными окнами его силуэт и делал странные телодвижения, какие ему предписывала роль.

Песчаные дорожки сада были ярко освещены солнцем. Между грядками фуксий и георгин сидел на корточках глухой старик садовник и срезал траву однообразным, утомлявшим мое зрение движением правой руки. В соседнем саду шумели дети, пуская лодочки по воде и змеев по воздуху, а сидевшая на скамье в лучах предвечернего солнца пожилая дама бросала из сумочки хлебные крошки воробьям. Вдали на лугу медленно двигались по направлению к лесу гуляющие с яркими зонтиками и детскими колясками.

Мы начали музицировать в пятом часу дня, проиграли две скрипичные сонаты Бетховена и трио

Шуберта. После чая приступили наконец к трио Н-dur. Я люблю это трио, особенно первую часть, полную торжественного ликования, и поэтому пришел в раздражение, когда в дверь постучали, едва лишь мы начали играть. Ойген Бишоф своим звучным голосом громко произнес: «Войдите!» — и в комнату просунулся молодой человек, лицо которого мне сразу показалось знакомым, я только не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах уже видел его. Он закрыл не без шума дверь, хотя, по-видимому, очень старался нам не помешать. Это был рослый плечистый блондин с почти четырехугольной головой, с первого же взгляда он мне не понравился, отдаленно напоминая кашалота.

Дина вскользь подняла на него глаза от клавиш, кивнула ему, к моему удовольствию, довольно небрежно, головой и продолжала играть, между тем как ее муж бесшумно поднялся с дивана, чтобы поздороваться с запоздавшим гостем. Поверх моего пюпитра я видел, как они оба беседуют, а затем кашалот вопросительно и с заметным удивлением указал на меня движением головы: «Кто это? Откуда он взялся?», — и я пришел к заключению, что он, по-видимому, интимный друг дома, если позволяет себе такие вольности.

Когда мы доиграли первую часть трио, Ойген Бишоф познакомил нас:

— Инженер Вольдемар Сольгруб, товарищ моего зятя, — барон фон Пош, любезно заменивший Феликса.

Феликс, младший брат Дины, услышал, что его упомянули, и помахал левой рукой в белой повязке. Он обжег в лаборатории руку и не мог поэтому играть на скрипке, а чтобы не сидеть без дела, перелистывал Дине ноты.

Затем показался доктор Горский из-за своей виолончели, приветливо усмехающийся гном, но инженер только мимоходом пожал ему руку и уже в следующий миг стоял перед Диной Бишоф. И между тем как он склонился над ее рукой — он держал ее в своей руке гораздо дольше, чем это требовалось, и на это было положительно тягостно смотреть, — между тем как он стоял, склонившись над ее рукой, и что-то ей настойчиво говорил, я заметил, что он совсем не так молод, каким показался мне вначале. Его белокурые, коротко остриженные волосы слегка серебрились на висках, и было ему, вероятно, лет под сорок, хотя он держался как двадцатилетний юноша.

Наконец он решился выпустить руку Дины и подошел ко мне.

— Кажется, мы с вами знакомы, господин виртуоз.

— Меня зовут барон фон Пош, — сказал я очень спокойно и очень вежливо.

Кашалот понял намек и извинился, сказав, что не расслышал, как это водится, моей фамилии, когда нас познакомили. У него была странная манера речи — он как-то выталкивал слова изо рта и живо напомнил мне этим своего двойника, выпускающего водяную струю из ноздри.

— Но ведь вы меня помните, надеюсь? — спросил он.

— Нет, очень сожалею.

— Если не ошибаюсь, мы пять недель тому назад...

— Мне кажется, вы ошибаетесь, — сказал я, — пять недель тому назад я путешествовал...

— Совершенно верно, вы путешествовали по Норвегии. И мы на пути из Христиании в Берген четыре часа сидели друг против друга. Вспоминаете?

Он помешивает ложечкой в чашке чаю, которую поставила перед ним Дина. Его последние слова она расслышала и говорит, с любопытством глядя на нас обоих:

— Ах, так вы уже раньше были знакомы?

Кашалот самодовольно и бесшумно смеется и говорит, обратившись к Дине:

— Как же! Но господин барон был во время плавания так же необщителен, как сегодня.

— Весьма возможно, — ответил я. — К сожалению, такова моя привычка, я не особенно люблю дорожные знакомства.

И этим инцидент был для меня исчерпан, но не для кашалота.

Ойген Бишоф заговорил об изумительной памяти на лица, которую только что еще раз доказал инженер. Ойген Бишоф всегда готов наделять своих друзей всевозможными дарованиями и выдающимися качествами.

— Полно, что вы, — говорит инженер, похлебывая чай. — В этом случае никакой особенной памя-

ти я не показал. Правда, лицо у господина барона как у тысячи других людей, — вы меня простите, барон, но положительно удивляться надо, до чего вы похожи на множество других людей, — но зато у вашей английской трубки физиономия, несомненно, характерная. По ней-то я вас сразу и узнал.

Я нахожу, что его шутки довольно плоски и что он несколько не в меру занят моею особою. Решительно не понимаю, чем заслужил я такую честь.

— Ну, Ойген, рассказывай теперь ты, душа моя, — восклицает кашалот громко и бесцеремонно. — У тебя был, читал я, большой успех в Берлине, все газеты ведь только о тебе и говорили. А как у тебя идет дело с королем Ричардом? Подвигается оно?

— Не будем ли мы дальше играть? — предлагаю я.

Кашалот сделал преувеличенно испуганный, извинительный жест.

— Вы еще не кончили? Ах, ради бога, простите. Право же, я думал... Я ведь совсем немусыкален.

— Это отнюдь не ускользнуло от моего внимания, — уверил я его с чрезвычайно любезным выражением лица.

Он делает вид, будто не расслышал этого замечания. Садится, вытягивает ноги, берет несколько фотографий со стола и углубляется в созерцание карточки, на которой Ойген Бишоф представлен в костюме какого-то шекспировского короля.

Я начинаю настраивать скрипку.

— Мы сделали только небольшую паузу между первой и второй частями — в вашу честь, го-